
СПЯЩИЕ МИРЫ
ШОВ
КНИГА ПЕРВАЯ

Семен Егоров

Спящие миры. Книга первая. Шов

https://litres.ru/74823209
SelfPub; 2026

Аннотация

Сначала исчезла одна ложка. Потом мир начал меняться.

Артём Воронцов — обычный инженер из подмосковной Дубны. Однажды утром он обнаруживает, что привычные вещи стали другими. Знакомый кофейный киоск превращается в аптеку, в телефоне появляются сообщения, которых он никогда не писал, а на старой фотографии вместо него стоит незнакомый седой мужчина.

И самое страшное — для всех остальных ничего не изменилось.

В поисках ответов Артём узнаёт о существовании параллельных ветвей реальности и секретном проекте «Шов». Эксперимент, способный соединить два мира, грозит уничтожить тысячи других.

Теперь Артёму предстоит сделать выбор: спасти тех, кого он любит, или позволить чужой трагедии стать катастрофой для бесчисленных жизней.

Но что, если человек, которому предстоит сделать этот выбор, уже не первый Артём?

Содержание

Глава 1. Лишняя ложка 5
Глава 2. Фотография в коридоре 19
Глава 3. Гости 32
Глава 4. Не спать 45
Глава 5. Тетрадь 57
Глава 6. Ложечники 70
Конец ознакомительного фрагмента. 78

Семен Егоров
Спящие миры.
Книга первая. Шов

Всё ветвится.
Егоров Семён

Глава 1. Лишняя ложка

«если читаешь это и утром что-то не так — никому не говори. дождись вечера»

Артём нашёл эту строку в шесть утра, между «молоко» и «батарейки».

Вообще-то он искал совсем другое. Вчера он клятвенно пообещал себе зайти после смены в магазин — и, разумеется, не зашёл, а заодно забыл, зачем собирался. Телефон лежал на тумбочке экраном вниз, на трёх процентах, потому что зарядку он опять оставил в куртке. Рядом стояла кружка со вчерашним чаем. Чай за ночь покрылся плёнкой и выглядел как маленькое болото. В комнате было холодно. Батареи в доме включили на прошлой неделе, и грели они с видом человека, которого попросили подвинуться в маршрутке.

Заметка называлась «Купить». Он вёл её второй год и ни-

чего оттуда не удалял — просто дописывал сверху. Получилась такая летопись для бедных. В самом низу до сих пор висело «подарок маме на 60», выше — «лампочка в ванную», ещё выше — «Лере вернуть книжку». Книжку он, кстати, так и не вернул. Лера, кстати, так и не попросила.

Листать он на этот раз не стал. Он упёрся в третью строку сверху и завис.

Маленькая буква в начале. Тире вместо запятой. Так писал только он. Лера ещё в школе ржала над этим и называла его записки «телеграммами из окопа». Никто на свете не ставит тире там, где просится запятая. Только он, Артём Воронцов, тридцать четыре года, калибровщик, человек без чувства пунктуации.

И он этого не писал.

Он ткнул в строку. Время изменения: 23:47.

В 23:47 он чистил зубы. Это он помнил отлично, потому что как раз в эту минуту, сплёвывая пасту, двинул локтем стакан для щёток. Стакан грохнулся в раковину — звонко, мерзко, на весь подъезд, наверное. По стеклу от донышка вверх побежала трещина, кривая, как молния на детском рисунке. Артём минуты две стоял над ней в одних трусах и вполголоса материл всё подряд: стакан, раковину, свой локоть и производителя стекла лично. Потом решил, что купит новый. Хотел даже вписать в эту самую заметку. Не вписал, лень. Выключил свет и лёг. Было полпервого.

А телефон в 23:47 лежал на стиральной машине. Экраном

вверх. Он это тоже помнил.

Он сел на край кровати и смотрел на строчку, пока экран не погас. Нажал кнопку. Строчка никуда не делась. Висела себе спокойно, будто так и надо.

— Ерунда, — сказал он вслух.

Получилось громко и как-то неубедительно. Будто в комнате сидел ещё кто-то и этого кого-то надо было уговорить. Артём даже оглянулся: шкаф, дверь, тёмное окно. Никого. Только кактус на подоконнике — Лерин подарок на новоселье. Пять лет стоит и ни разу не цвёл. Принципиальный.

— Ты тоже ничего не видел, да? — спросил у него Артём.

Кактус промолчал. Нормальная реакция, между прочим.

Он натянул свитер прямо поверх футболки, в которой спал, и пошлёпал на кухню. Пол был ледяной. Тапок он не нашёл — один, как всегда, уехал под кровать и там жил своей жизнью.

Квартира у него была маленькая: однушка на четвёртом этаже панельки на улице Курчатова, двадцать минут пешком до института. Покупал он её пять лет назад как временную. Ну, мол, женюсь, дети, надо будет побольше. Не женился. Детей не случилось. Квартира перестала быть временной и стала просто его. Продавленное кресло, которое приняло форму его спины. Стопки журналов по физике частиц — он выписывал их по старой памяти, хотя всё давно читал в интернете, и выбросить рука не поднималась. Шкаф, где половина полок была забита инструментами, потому что мало ли. Он

знал тут каждый угол. Каждую щель в линолеуме. Поэтому дальше было особенно неприятно.

Он поставил чайник, выдвинул ящик с приборами и, не думая, пересчитал ложки.

Дурацкая привычка. Мамина. Мама в детстве всегда пересчитывала ложки после гостей — «а то знаешь, сколько их уходит, Тёма, ты не представляешь». Он смеялся над ней лет до двадцати. А потом поймал себя на том, что делает то же самое. Каждое утро. Как другие проверяют утюг. Две столовые, две чайные, две десертные. Всё, можно жить.

Он замер с ящиком в руках.

Две десертные.

Их было три. Всегда три. Это он знал так же твёрдо, как то, что у него два ключа от квартиры, а в доме девять этажей. Мама подарила ему набор на шесть персон, когда он переехал: мельхиор, коробка с синим бархатом внутри, всё серьёзно. «Чтобы как у людей», — сказала она. Он хмыкнул. Она обиделась. Ему пришлось при ней же разложить ложки по ящику и поклясться, что будет ими есть. Из шести десертных одну он угробил в первый же месяц: она съехала с бортика раковины, нырнула в слив и звякнула где-то в трубе. Он полвечера разбирал сифон, извозился как свинья, порезал палец о ржавую гайку — и ничего не нашёл. Ещё две утащила Лера, когда у неё на дне рождения не хватило приборов. Обещала вернуть. Ага. Он не напоминал, потому что напоминать Лере — себе дороже.

Шесть минус одна в трубе минус две у Леры. Три. Пять лет подряд. Каждое утро.

Теперь их было две.

И обе — его. Потёртые, привычные, с одинаковой царапиной у основания ручки, которую он оставил, когда открывал ими банку с краской. Да, десертной ложкой. Да, мельхиоровой. Мама об этом не знает и, надеется он, никогда не узнает.

Он выдвинул ящик до упора. Заглянул под лоток. Пошарил по дну — нашёл крошки, резинку для денег и почему-то пуговицу. Проверил сушилку. Раковину. Открыл посудомойку, которую включал раза три в жизни. Ложки нигде не было.

— Ну и что, — сказал он. — Ну и что. Сунул куда-то. На работу унёс. Лера стащила.

На работу он ложек не носил: там столовая и пластиковые вилки, которые ломаются об котлету. А Лера не заходила две недели.

Чайник щёлкнул. Артём дёрнулся, как будто его застукали.

Он заварил чай, сел и уставился на две ложки, которые выложил перед собой рядышком, ровно, как хирург инструменты. Посидел. Потом встал и пошёл в ванную. Ему вдруг страшно захотелось увидеть треснувший стакан. Если трещина на месте — значит, вчера было. Значит, он просто вымотался и где-то обсчитался. Значит, всё нормально.

Треснувшего стакана не было.

На полке стоял другой. Целый. Синего стекла, с толстым дном, с застывшими внутри пузырьками воздуха. В нём торчали его щётка и его паста — та, с мятой, которую он покупает, потому что она по акции. Артём взял стакан. Повертел. Тяжёлый, холодный, красивый. Он такие не покупал. Он вообще в жизни не покупал стаканов для щёток. Старый, прозрачный, с облезлым парусником, достался ему от прежних хозяев вместе со сломанным смесителем и запахом чужого борща. Пять лет он им пользовался просто потому, что повода выкинуть не было.

Он поставил синий стакан обратно. Снял. Поставил снова — аккуратно, по круглому следу на полке.

По следу.

Стакан стоял тут давно. Достаточно давно, чтобы оставить след.

Артём поднял глаза на зеркало.

Там был обычный мужик тридцати четырёх лет. Тёмные волосы торчат, щетина третий день, под глазами синяки, какие бывают у людей с ночными сменами и без личной жизни. Над левой бровью — тонкий кривой шрам. В шестнадцать он навернулся с велика на спуске к реке: слетела цепь, и он проехался лицом по асфальту. Лера потом неделю звала его «пиратом» и требовала, чтобы он говорил «йо-хо-хо». Это было его лицо. Он знал его не хуже ложек в ящике. И сейчас, глядя на него, он впервые подумал: а если однажды и лицо окажется не совсем тем?

Он отвернулся. Быстро. Как от чужого человека в лифте.

В семь он вышел из дома.

На улице ещё стояла темнота. Ноябрь в Дубне всегда такой: серо, мокро, небо лежит прямо на крышах, как отсыревшее ватное одеяло. Фонари жёлтые, лужи чёрные, в окнах кое-где люди с чашками — такие же невыспавшиеся. Город просыпался медленно, через силу, как школьник в понедельник. Артём его таким и любил. Летом Дубна делала вид, что она курорт: зелень, туристы, студенты с самокатами. А осенью переставала притворяться. Маленький научный город на Волге, где половина народу работает в институте, а вторая половина живёт за счёт первой.

Он шёл знакомым маршрутом — через двор, мимо гаражей, мимо клёна, который каждую осень с каким-то садизмом засыпал листьями чью-то синюю «Ниву», — и по дороге себя уговаривал.

Недосып. Ночные смены. Три ночных сеанса подряд за месяц — у кого угодно поедет крыша. Мозг устаёт. Мозг путает. Он же читал: память ничего не записывает, она каждый раз собирает прошлое заново, из кусочков, как пьяный сборщик мебели из ИКЕА. И иногда собирает криво. Психологи вон умеют внушить человеку, что в детстве он летал на воздушном шаре. Так почему бы мозгу не ошибиться с ложками? Почему бы не придумать треснувший стакан?

А записка? — спросил кто-то внутри. Ехидно так спросил.

Записку тоже можно объяснить. Мог написать во сне. Лю-

ди во сне ходят, разговаривают, холодильник открывают. Один его знакомый во сне заказал себе с телефона палатку и надувную лодку. Почему бы не написать во сне заметку? В 23:47 он вроде не спал, но мог же отключиться на минуту на краю ванны. Мог. Наверное. Ну, допустим.

Он дошёл до угла, где Курчатова упирается в проспект Боголюбова, и встал как вкопанный.

На этом углу десять лет стоял кофейный киоск. Маленький, зелёный, с окошком и пластиковым козырьком, под которым зимой отрастали сосульки. В киоске работала Тамара — круглая, весёлая, лет пятидесяти, с крашеной чёлкой и голосом на всю улицу. Она знала всех постоянных клиентов по имени и по заказу. Артёму каждое утро делала американо с молоком и спрашивала: «Ну как там ваши частицы?» Он отвечал: «Летают». Она хохотала так, будто слышит это в первый раз. Это был их ритуал. Если честно, он иногда шёл этой дорогой только ради него. Не ради кофе — кофе, между нами, был так себе.

Киоска не было.

На его месте, на первом этаже жилого дома, горела вывеска: «АПТЕКА». Белые буквы на зелёном. Буква «Т» отклеилась с одного края и висела набок, как выбитый зуб. Вывеска старая, выгоревшая, с ржавыми потёками от креплений. Такие за ночь не вешают. Такие висят годами и всех достают.

Артём стоял и смотрел на неё.

Мимо прошла тётка с таксой. Пробежал школьник с рюк-

заком больше себя. Пронёсся автобус и щедро окатил Артёма из лужи — по колено. Никто на аптеку не смотрел. Никто не останавливался. Для всех она тут стояла всегда.

Он подошёл поближе. Сквозь стеклянную дверь было видно: фармацевт в белом халате, зевая, раскладывает по полкам коробки. На двери — расписание, «Пн–Пт 8:00– 21:00». Наклейка «Принимаем карты». Аптека как аптека. Утро как утро. Джинсы мокрые.

Он полез в телефон, в карты. Он точно помнил: киоск там был, он сам оставлял ему отзыв. Пять звёзд. «Лучший кофе в Дубне и лучшая улыбка». Ну, про кофе он соврал, про улыбку — нет. На карте был угол. На углу была аптека. Никакого киоска. Он открыл свой профиль, раздел «Мои отзывы». Пусто. Ни одного. Он никогда в жизни не оставлял отзывов.

Сзади кто-то кашлянул.

— Молодой человек, вы заходите или так стоите? — Пожилая женщина в сером пальто смотрела на него с выражением «наркоман, что ли».

— Нет. Извините. — Он посторонился. — Скажите… тут раньше не было кофейного киоска?

Она посмотрела на него ещё раз, уже с жалостью. Так смотрят на пьяных, которые вежливые.

— Тут всегда была аптека, — сказала она. — Сколько живу. — И протиснулась мимо, задев его сумкой.

Артём отошёл к остановке и сел на мокрую скамейку. Мокрее он уже всё равно не станет. Автобус через семь ми-

нут. В голове было пусто и тихо, как в зале после концерта, когда все ушли, а ты почему-то остался.

Он подумал про Тамару. Где она? Есть ли она вообще? Если киоска никогда не было — она где? В другом киоске? В другом городе? Или… Додумать он не смог. Мысль была слишком большая и слишком холодная, как прорубь. Он отошёл от неё на шаг.

Напротив, в мамином доме, зажглись окна. Отсюда было видно её кухню на третьем — жёлтые занавески в мелкий цветочек. Мама вставала рано, даже на пенсии. Говорила: не могу спать, когда светает, совесть не позволяет. Артём посмотрел на эти занавески, и внутри что-то чуть-чуть разжалось. Занавески были те. Те самые, которые она сама шила, когда он ещё в школу ходил, и которые он с тех пор тихо ненавидел за цветочек. Хоть что-то на месте. Хоть что-то ненавистное и родное.

Он набрал её номер. Поднёс к уху — и сбросил до первого гудка. Ну и что он скажет? «Мам, у меня пропала ложка из твоего набора»? «Мам, вместо Тамариного киоска аптека»? Она тут же решит, что его облучили. Она всю жизнь была уверена, что на его работе «облучают и под землёй». Давление сразу двести. Нет уж.

Он позвонит Лере.

Лера — младшая сестра. На три года младше. Участковый терапевт в районной поликлинике, разведённая, вечно уставшая, вечно опаздывающая и вечно кого-то спасающая.

В детстве они дрались так, что соседи вызывали милицию. Один раз она укусила его за ухо, и шрам от этого, кстати, тоже есть, только его никто не видит. А лет с пятнадцати они вдруг стали лучшими друзьями, и так до сих пор. Лере можно было рассказать что угодно. Лера всегда знала, что ответить. Лера всегда умела объяснить ему, что он просто устал и надо поесть.

Она встаёт в полшестого, чтобы успеть на утренний приём. Значит, уже на ногах. Значит, уже злая и с кофе.

Он открыл мессенджер. Их переписка, как всегда, висела наверху. Он начал набирать: «Лер, тут такое дело…» — и остановился.

Над полем ввода было последнее сообщение. Вчерашнее. От неё.

Никаких вчерашних сообщений он не помнил. Вчера они не переписывались. Он был на смене до пяти утра, потом спал до обеда, потом сидел дома с документацией. В этот чат он не заходил. Точно.

Но сообщение было. А перед ним — его собственное. В 22:14. Он прочитал сначала его.

«Лер, а сколько у меня было десертных ложек? Из маминого набора. Ты помнишь?»

Он этого не писал. Он перечитал три раза. Тире нет, запятые на месте, но это ничего не значит: в сообщениях он всегда старался писать по-человечески. Время — 22:14. В 22:14 он сидел в кресле с ноутбуком на коленях и читал протоко-

лы калибровки. Он помнил даже какой. По третьему сектору. С кривой формулой на странице восемь. Он ещё тогда подумал: кто ж так считает, руки бы оторвать.

А ниже — Лерин ответ. В 22:31.

«Тёма, ты опять спрашиваешь, сколько у тебя ложек. Это уже третий раз за месяц. Я серьёзно, сходи к врачу. Не ко мне — к нормальному, к неврологу. Ты меня пугаешь».

К остановке подкатил автобус, распахнул двери и постоял, подождал. Артём не шевелился. Водитель посмотрел на него через стекло, пожал плечами — мол, твоё дело — и уехал.

Третий раз за месяц.

Артём сидел под фонарём на мокрой скамейке, в мокрых джинсах, сжимал телефон и пытался вспомнить. Хоть раз. Хоть одно сообщение. Хоть одно утро, когда он недосчитался ложки.

Ничего. Пусто. Ни первого раза, ни второго. Ни вчерашнего, когда он якобы сидел в 22:14 и терроризировал сестру ложками, — а на самом деле ругался на формулу на странице восемь.

Он пролистал чат вверх. Медленно, как идут по тёмному коридору. Две недели назад — нормальная переписка: она ныла про заведующую, он слал ей котов. Неделю назад: «Приедешь к маме в воскресенье?» — «Приеду». Он не помнил, чтобы отвечал. Он не помнил, чтобы ездил. Он помнил, что в прошлое воскресенье дрых до двух после ночной.

А ещё выше, восемнадцать дней назад, было сообщение,

от которого у него заледенели пальцы.

«Лер, слушай, странный вопрос. Сколько у меня было десертных ложек?»

И её ответ: «Чего? Три, кажется. Я ж у тебя две утащила, помнишь? Ты чего, пересчитываешь?)))»

И через девять дней:

«Лер, а ложек у меня три было или две?»

«Тёма, ты уже спрашивал. Три. У тебя всё нормально?»

Он смотрел на эти строчки и не узнавал их. Его слова. Его манера. Его дурацкие скобочки вместо смайликов. Но писал не он. Кто-то писал это его пальцами, с его телефона, в его жизни. Кто-то, кто тоже каждое утро пересчитывал ложки. Кто-то, кто однажды тоже не досчитался.

Или досчитался лишней.

Пришёл следующий автобус. Артём встал, вошёл, пикнул картой и сел у окна, подальше от бабушки с пакетом селёдки. Мимо поплыли дома, деревья, люди под зонтами. Проплыл угол с аптекой. В последний раз мелькнули жёлтые занавески. Всё было на месте. Всё было обычное. И он вдруг понял, что вот это и пугает его больше всего.

Если бы мир сломался сильно — зелёное небо, улицы вверх ногами, говорящие голуби, — он бы точно знал, что сходит с ума. И это было бы почти облегчением: ну всё, приехали, вызывайте санитаров. Но мир сдвинулся чуть-чуть. На одну ложку. На один стакан. На один киоск. Ровно настолько, чтобы никто, кроме него, не заметил.

Он снова открыл заметку «Купить».

«если читаешь это и утром что-то не так — никому не говори. дождись вечера»

Что-то не так — это он уже понял, спасибо. Вопросов оставалось два. Кто это написал. И что, чёрт побери, будет вечером.

Автобус свернул на Жолио-Кюри. В просвете между домами показалась серая туша института, а за ней — длинный ровный вал, заросший сухой травой. Под ним, на глубине двадцати метров, лежало кольцо коллайдера. Артём ездил мимо него каждый день восемь лет и ни разу не задумывался, как он выглядит со стороны. А сейчас подумал: как шрам. Длинный, ровный, аккуратно зашитый шрам на теле земли.

Он машинально тронул бровь.

Телефон пискнул и умер. Три процента — это всё-таки не процент.

Лере он так и не ответил.

Глава 2. Фотография в коридоре

На проходной охранник разглядывал его пропуск дольше обычного.

Геннадий Петрович за восемь лет ни разу на пропуски не смотрел. Он читал детективы в мягких обложках, разгадывал сканворды и кивал всем подряд, не поднимая головы. Турникет сам знает, кого пускать, а Геннадий Петрович доверял технике. А сегодня он отложил книжку обложкой вверх — «Кровавая роса», том третий, — взял пропуск двумя пальцами и поднёс к самым очкам. Посмотрел на фото. На Артёма. Снова на фото.

У Артёма замёрзли руки. Он вдруг очень ясно представил: сейчас охранник скажет «Это не вы». Или «Такой у нас не числится». Или просто нажмёт кнопку под столом, и из боковой двери выйдут двое в чёрном. Как в кино. Только без попкорна.

Турникет мигнул зелёным. Геннадий Петрович вернул пропуск и буркнул:

— Рано вы, Воронцов. Ночной сеанс в пять только закончили. Спали бы.

— Работа, — сказал Артём. Голос просел.

— У всех работа. — Охранник снова открыл детектив. — А спать тоже надо. Вон у меня зять тоже всё «работа, работа». И что? Гастрит.

Артём прошёл турникет и остановился.

Ночной сеанс.

Коллайдер гоняли с полуночи до пяти. Он это знал, естественно. Он сам составлял график проверки датчиков на эту неделю и сам себе вписывал ночные. Полную мощность ставили на ночь: сеть свободнее, людей меньше, помех меньше. Просто удобно. Просто строчка в таблице. Он писал её сотню раз и ни разу не задумался.

Сегодня она засела в голове, как заноза под ногтем.

Ночью сеанс. Утром — две ложки вместо трёх.

«Совпадение», — сказал он себе очень твёрдо и пошёл к лифту. Лифт не работал. Лифт в старом корпусе не работал с августа, и каждое утро он по привычке жал кнопку, а потом шёл пешком. Хоть что-то сегодня было как всегда.

Лаборатория детекторов занимала половину третьего этажа. Длинный коридор, линолеум из девяностых, десяток одинаковых дверей цвета, который завхоз именовал «бежевым», а все остальные — «цветом больничного пайка». На дверях таблички, и половина давно врала: люди уходили, приходили, пересаживались, а таблички оставались. У Артёма на двери триста четырнадцатого до сих пор значился некий «Белов С. Н.», который уволился задолго до него. Артём иногда с ним здоровался. В шутку. Почти.

Пашка Лосев уже сидел у себя напротив. Лаборант, двадцать шесть, рыжая борода, наушники на шее, дома, по наблюдениям, не бывает. Он махнул Артёму через открытую

дверь кружкой. На кружке было написано: «Я не сплю, я калибруюсь».

— Тёма! Ты чего тут? Ты ж в ночь был.

— Не спалось.

— А-а, — Пашка кивнул с видом человека, который знает жизнь. — После полной мощности у меня тоже. Будто внутри всё гудит. Бабка говорила, это от магнитов, они кровь подругому гоняют. Бабка у меня, правда, и про микроволновку так говорила. Но ощущение есть, честно.

Артём задержался на пороге.

— Гудит?

— Ну. — Пашка пожал плечами. — Не замечал? Будто ты не совсем ты. Будто проснулся в чужой кровати. Со мной такое в студенчестве было, только там кровать реально чужая была. Ладно, не бери в голову. Кофе будешь? Новый, эфиопский. С нотами чего-то там. Я нот не чувствую, но стоил как крыло от самолёта.

— Буду. — И, помолчав: — Паш. А Тамарин киоск на курчатовском углу — ты туда ходишь?

— Какой Тамарин? — Пашка возился с кофеваркой и не оборачивался. — На Курчатова? Там аптека. Я там пластыри брал, когда руку о кожух распорол. Не помнишь? Ты ещё ржал, что мне даже железо сопротивляется.

Артём не помнил. А ведь фраза была вполне в его духе. От этого стало ещё противнее.

Он зашёл к себе и закрыл дверь.

Кабинет был крошечный, с одним окном во двор. Во дворе круглый год стояла ржавая бочка непонятного назначения. Пашка утверждал, что в ней живёт дух института. Два стола стояли друг напротив друга. За одним сидел Артём. Другой был ничей: старые распечатки, коробки с запчастями, сломанный осциллограф, который всё собирались списать и всё никак. Восемь лет Артём смотрел на этот стол каждый день и ни разу не спросил себя, чей он. Стол и стол. Место, куда можно что-нибудь свалить.

Он включил компьютер и сделал вид, что работает. На самом деле открыл журнал сеансов.

Журнал был общий — длинная таблица, куда каждый сеанс падал сам: дата, начало, конец, мощность в процентах от паспортной, номер протокола. Он листал назад. Месяц. Ещё месяц. Крутилось почти каждую ночь — малая мощность, средняя, тестовые прогоны. А вот полная, сто и выше, бывала нечасто.

Он выписал на листочек даты полных сеансов за месяц. Три. Четыре, если с вчерашним.

Потом открыл чат с Лерой и выписал даты сообщений про ложки. Восемнадцать дней назад. Девять. Вчера.

Положил два листка рядом.

Совпало. Каждое сообщение — вечером накануне или сразу после полного сеанса. Все три. Не «примерно в те же дни». Точно, как в протоколе.

А самый первый полный, двадцать два дня назад, был без

сообщения. Артём долго чесал в затылке, пока не вспомнил: Лера тогда сидела в Твери на курсах повышения квалификации и три дня никому не отвечала. «Телефон в тумбочке, я учусь, не смей мне звонить, если никто не умер».

Ему стало холодно. Он встал и закрыл форточку. Форточка была закрыта. Он постоял, держа руку на ручке, и почувствовал себя полным идиотом.

Ты техник, а не гадалка, сказал он себе. Ты знаешь, что там, в трубах. Протоны. Пучки протонов почти на скорости света, бац — и осколки. Ты сам ставил датчики, которые это ловят. Ты знаешь, сколько там энергии: меньше, чем у космических лучей, которые лупят в атмосферу каждую секунду. Если бы столкновения частиц меняли мир, он бы менялся всегда, миллиарды лет. Физике плевать на твои ложки. Физика вообще на тебя плевать, и в этом её прелесть.

Он повторял это, пока Пашка не принёс кофе.

— Ты бледный какой-то. — Пашка поставил кружку прямо на листочек с датами, и на датах осталось коричневое кольцо. — Иди домой, а? Я за тебя протоколы подпишу. Почерк у тебя всё равно как у врача, никто не отличит.

— Нормально всё. — Артём кивнул на пустой стол. — Паш, а чей это стол?

Пашка посмотрел. И Артём потом много раз вспоминал его лицо: сначала обычное, чуть насмешливое, а потом — на секунду — потерянное. Так смотрят, когда вдруг забыли слово, которое знали всю жизнь. «Холодильник» там. Или

имя бабушки.

— Ну… ничей, — сказал Пашка. — Запасной. Всегда так стоял. А что?

— Ничего.

Пашка ещё постоял, глядя на стол, потом мотнул головой, будто муху отгонял, и ушёл.

К обеду Артём почти убедил себя, что всё в порядке. Почти — ключевое слово.

Он проверил три датчика в третьем секторе, подписал два протокола и ответил на письмо из Гатчины — вежливо, хотя хотелось написать «читайте приложение, чёрт бы вас побрал». Обычная работа. Успокаивает. Работу он любил со студенчества — с той самой первой практики, когда его пустили посмотреть на детектор изнутри: тысячи тонких проводков, кристаллы, похожие на лёд, и электроника, которая умеет поймать след частицы, живущей триллионную долю секунды. Тогда он стоял с открытым ртом, и старший инженер сказал ему: «Рот закрой, напылишь». В этом мире всё можно было настроить. У каждой ошибки есть причина. Сигнал запаздывает — значит, длинный кабель или наводка, найди, измерь, почини. Мир датчиков был честный. В нём ничего не менялось само по себе.

В час он пошёл в столовую. Не потому что хотелось есть, а потому что столовая — это нормально. Нормальные люди в час идут в столовую и берут гречку с котлетой.

Идти надо было через стеклянный переход, а потом по

коридору административного крыла, где висела история института в рамочках: основатели в строгих костюмах, первые ускорители, какая-то делегация, какие-то награждения, все с серьёзными лицами людей, у которых жмёт пиджак. Артём ходил тут каждый день и давно перестал их замечать. Фотографии стали частью стен, как розетки.

Сегодня он остановился посреди коридора. Сам не зная почему. Ноги встали.

Большая фотография в алюминиевой рамке. Команда детекторов в день первого запуска, девять лет назад. Человек сорок, в три ряда, на фоне синего магнита. Все в оранжевых касках — пресс-центр раздал специально, «для картинки», и половина тех касок потом мистически исчезла на дачи сотрудников. Артём помнил тот день до мелочей. Жара, конец июня, вентиляция сдохла. Запах свежей краски на ограждениях. Фотограф — круглый, потный, с двумя камерами на шее — бегал вокруг и вопил: «Скажите «адрон»! Ну! Все вместе! Адро-о-он!» И все ржали, потому что «адрон» на фото говорить трудно, с ним получается лицо человека, которого тошнит. Из-за этого смеха снимок и вышел живым.

Он стоял во втором ряду слева. Между Мариной Георгиевной, руководителем группы, и… кем-то. Не помнил кем. Кто-то в последнюю секунду, перед щелчком, положил ему руку на плечо. Тяжёлую, тёплую. Тяжесть он помнил. Лицо — нет.

Он нашёл глазами второй ряд.

Марина Георгиевна на месте: маленькая, строгая, каска ползёт на глаза. Рядом с ней стоял человек.

Не Артём.

На его месте стоял седой. Не «с проседью» — белый целиком, будто его мелом извазюкали. В такой же оранжевой каске. На вид лет пятидесяти, хотя что-то в лице, в глазах, в подбородке было слишком молодым для такой седины. Все вокруг смеялись. Он — нет. Он улыбался одними губами, спокойно, чуть грустно, и смотрел прямо в объектив.

И Артёму показалось — нет, не показалось, он спиной это почувствовал, — что седой улыбается ему.

Он подошёл ближе. Ещё ближе. Теперь он стоял носом к стеклу и видел всё: морщины у глаз, царапину на каске, руку на плече соседа. Он искал себя — в третьем ряду, с краю, где угодно. Может, перепутал. Может, не во втором. Может, он вообще в тот день в туалет отошёл…

Нет. Не отошёл. Он помнил руку на плече.

Его не было на фотографии. Нигде.

А рядом с седым, там, где должен был стоять тот, кто положил руку, — мужчина лет сорока. Плотный, круглолицый, с добродушными усами сома. Артём смотрел на него, и в голове что-то ворочалось — как мелодия, которую напевал всю жизнь и вдруг забыл на второй строчке. Тёплое, близкое. И не поймать.

— Вас там тоже нет?

Он дёрнулся так, что задел плечом рамку, и та качнулась

на гвозде. Он поймал её обеими руками, как вратарь.

Рядом стояла женщина. Лет сорока, худая, короткая стрижка, в которой седина перемешалась с тёмными прядями, — но не как у седого, а нормально, по-человечески. Белый халат поверх толстого серого свитера, и халат на два размера больше, чем надо. В руке бумажный стаканчик из автомата. На бейдже: «Кармазина И. В., лаборатория теоретической физики».

Она смотрела не на него. На фотографию. Сосредоточенно, как смотрят на график, в котором точно есть ошибка, но чёрт её знает где.

— Что значит «тоже»? — спросил Артём, всё ещё держа рамку.

Она не ответила. Отпила из стаканчика, скривилась. Кофе из автомата в административном крыле был известен на весь институт. Ходила легенда, что его используют для проверки детекторов на стойкость. Потом она наконец перевела взгляд на него. Глаза серые, очень спокойные и очень уставшие. Как у врача в конце суточного дежурства.

И что-то в них смягчилось. Так смотрят на человека, которому сейчас скажут плохую новость.

— Сколько у вас сегодня утром было ложек, Артём?

У него пересохло во рту. Рамка в руках вдруг стала тяжёлой.

Эту женщину он никогда не видел. Он был уверен. Почти всех в институте он знал хотя бы в лицо — по столовой, по

курилке, по очереди в бухгалтерию. Её — нет. Имени своего он ей не называл. Про ложки не рассказывал никому. Даже Лере не ответил.

— Откуда вы…

— Вы сами рассказали. — Сказала просто, как о погоде. — Неделю назад. Вот тут, у этой фотографии. Только тогда вы спрашивали, вижу ли я седого. И были очень напуганы. Сильнее, чем сейчас. Вы тогда ещё чуть не уронили мой кофе. — Она чуть помолчала. — И велели мне ни в коем случае не подходить к вам днём. Сказали, что днём вы можете оказаться не тем. Что днём вы, может, ещё ничего не знаете.

— Я не помню.

— Знаю. — Она кивнула, будто это была самая обычная вещь на свете. — Поэтому я вам ничего и не говорила. Вот прямо сейчас — не говорила. Понимаете? И повесьте уже рамку, вы её держите, как икону.

Он повесил. Криво. Поправил. Понятнее не стало. Он стоял и чувствовал себя так, будто вышел на лёд, а лёд под ногами тихонько потрескивает. Пока не громко. Пока.

— Кто вы?

— Ирина. Ирина Викторовна. Хотя вы меня звали просто Ириной. Тот вы, которого я знаю. И ещё вы меня называли «тётя Ира с формулами», но это мы забудем.

Она выкинула стаканчик в урну, второй раз за минуту подтянула сползающий рукав халата и глянула на часы.

— У меня семинар. — И, уже отходя, обернулась: — До-

ждитесь вечера, Артём. Просто дождитесь. Не делайте глупостей, никому не говорите. И не смотрите долго на эту фотографию. Она… — Ирина поискала слово, не нашла лучшего. — Она близко к кольцу. Здесь всё близко к кольцу.

И ушла по коридору, не оборачиваясь. Шаги стихли за поворотом.

Артём стоял посреди коридора один. Мимо шли люди — в столовую, из столовой, с подносами, папками, телефонами у уха. Кто-то громко жаловался, что компот опять из сухофруктов. Никто не смотрел на фотографию. Никто не смотрел на него.

«Дождитесь вечера». Как в записке. Слово в слово.

Он снова посмотрел на фотографию. Ну а что ещё делать, если велели не смотреть. Седой всё так же улыбался. Усатый всё так же держал руку у соседа на плече. Марина Георгиевна всё так же воевала с каской.

И только теперь, когда лампа над головой мигнула и снова загорелась ровно, он заметил то, что пропустил.

Над левой бровью у седого был шрам.

Не тонкий. Широкий, бугристый, уходящий под каску, — такие бывают от ожога или от рваной раны. Но в том же месте. Точно в том же.

Артём поднял руку и потрогал лоб. Знакомая тонкая полоска. Велик, шестнадцать, цепь, асфальт. Йо-хо-хо.

Он смотрел на седого, а седой — на него. И Артём вдруг понял, что знает это лицо. Не узнаёт — знает. Как собствен-

ную походку. Как свой кашель. Этот разрез глаз, эту линию подбородка, эту манеру улыбаться одной стороной рта, за которую Лера в детстве обзывала его «криворотым». Он видел их каждое утро.

В зеркале.

Лампа мигнула ещё раз — и на долю секунды свет в коридоре стал жёлтым, тёплым, старым, как от лампочек накаливания, которых тут не было лет двадцать. Потом снова белый.

Артём не пошёл обедать. Гречка с котлетой вдруг перестали быть нормальными. Он вернулся в лабораторию, сел напротив пустого стола и до вечера смотрел в монитор, не видя ни одной цифры. Живот дважды громко напомнил о себе. Он съел сухой крекер из Пашкиной заначки и почувствовал себя вором.

В шесть Пашка заглянул попрощаться.

— Ты как? Живой?

— Живой.

— Крекер мой съел?

— Съел.

— Значит, живой, — удовлетворённо сказал Пашка и уже повернулся уходить, но застрял на пороге. Посмотрел на пустой стол. Нахмурился.

— Слушай, — сказал он медленно. — А у нас тут разве не… — Не договорил. Потёр лоб. — Ладно. Фигня какая-то в башку лезет. Эфиопский кофе, наверное. С нотами. Пока,

Тём.

Дверь за ним закрылась.

Артём посмотрел на пустой стол. На сломанный осциллограф. На коробки. На стопку распечаток, придавленную сверху чьей-то кружкой. Белой, с облезлой надписью. Он восемь лет на неё смотрел и ни разу не попытался прочитать. Лень было. Не его же кружка.

Он встал, подошёл и взял её.

Надпись почти стерлась. Остались две буквы: «…ТЯ».

Он долго стоял с ней. На дне засохло коричневое кольцо — кто-то когда-то не допил чай и ушёл. И не вернулся. Потом Артём поставил кружку на место, точно в круглый след на распечатке, выключил компьютер и пошёл домой.

Ждать вечера. Хотя вечер, если честно, уже наступил. В ноябре он наступает в четыре.

Глава 3. Гости

Дома Артём был в шестом часу и первым делом, не снимая куртки, устроил в квартире обыск.

Что ищет — не знал. Но логика была простая: если кто-то — он сам, другой он, назови как хочешь — оставил одну записку, мог оставить и другие. Телефон — штука ненадёжная. Его можно разбить, потерять, обновить до состояния кирпича. Если бы он сам хотел что-то себе передать наверняка, он бы написал на бумаге. И спрятал там, где прячет только он.

А прятать он умел ровно в трёх местах. Не самый выдающийся конспиратор, чего уж там.

Первое — за отходящей планкой плинтуса в прихожей. Детская привычка: в родительской квартире он прятал за плинтусом заначку. Сначала на мороженое, потом на кассеты, потом сигареты, которые он так и не научился курить — только кашлял и делал вид, что так и задумано. Здесь планка отошла сама, на второй год, и он так её и не прибил. Наверное, какая-то часть него хотела, чтобы в доме было тайное место. А какая-то часть просто не могла найти молоток.

Он сел на корточки, подцепил планку ногтем, сломал ноготь, выругался и отогнул.

Пусто. Серая пыль, комочек паутины и дохлый паук лапами вверх. Артём посидел над пауком с странным чувством — не то облегчения, не то обиды. Если и во втором месте

пусто, и в третьем, — можно выдохнуть. Значит, есть нормальное объяснение, просто он его пока не нашёл. А женщина в коридоре — ну, в институте странных людей хватает. Один вон в физико-техническом отделе десять лет ходит на работу в кедах и с попугаем.

Он встал и пошёл в комнату.

Второе место — книга. На верхней полке, в углу, стояли старые Стругацкие. «Пикник на обочине», восьмидесятые, жёлтые страницы, корешок склеен синей изолентой. Отцовская. Отец читал её Артёму вслух, когда тому было десять. Рановато, конечно. Артём тогда ничего не понял, кроме одного: бывают места, где мир устроен не так, как везде. Отец умер двенадцать лет назад, и книга была одной из трёх вещей, которые Артём забрал себе. Две другие — часы, которые он не умел заводить, и отцовская отвёртка с красной ручкой. Между страницами сто двенадцать и сто тринадцать, где Рэдрик Шухарт идёт в Зону один, Артём держал то, что нельзя терять. Отцовскую фотографию на паспорт. Бумажку с паролями (да, с паролями, в книге, как дед). И старое письмо от девушки, которую любил на третьем курсе и которая давно жила в Канаде с мужем-стоматологом. Письмо он не перечитывал лет десять. Но и выкинуть не мог.

Книга раскрылась сама — корешок давно привык.

Фотография отца лежала. Бумажка с паролями лежала. Письма из Канады не было.

А на его месте — тетрадный лист в клетку, сложенный

вчетверо. Когда Артём его взял, лист дрожал. Ну то есть дрожали пальцы, конечно. Листу было всё равно.

Почерк был его. Почти. Так смотрят на свою подпись, которую кто-то очень хорошо подделал. Буквы заваливались вправо сильнее обычного, будто писавший торопился или у него ныло запястье. «Д» с хвостиком вниз — так он писал в школе, пока учительница русского не отучила. И тире. Тире были на месте.

«Если ты нашёл это — значит, уже понял, что ты не первый. Я пишу третьим. Первый оставил записку в телефоне — второй не оставил ничего, потому что не поверил. Не будь вторым.

Ирина Кармазина знает. Она в теоротделе — худая, с сединой. Встреться с ней на набережной у лодочной станции в семь. Она там будет — она там всегда по вечерам.

Не говори Лере. Она уже видела троих из нас и боится. Ей и так тяжело.

И ещё: ложек у тебя три. Всегда было три. Это в мире, где ты сейчас, их две. Так что ты не сходишь с ума. Это важно — поверь хотя бы в это».

Артём сел прямо на пол. С книгой на коленях и в куртке.

Перечитывал, пока не выучил. Каждое тире. «Я пишу третьим». Значит, в этой квартире кто-то жил. В этом теле. Сидел в этом кресле, пил из этой кружки, дрых на этой подушке. Чистил этими зубами эту пасту. Пока сам Артём был… где?

И вот что было мерзко по-настоящему: кто-то чужой трогал его вещи. Его письма. Залез в отцовскую книгу. И выкинул — или забрал? — письмо из Канады. С какой стати? Кто тебе разрешил?

Он поймал себя на том, что злится на самого себя. И что это даже помогает: злиться легче, чем бояться.

Он попытался вспомнить утра после сеансов. Двадцать два дня назад — дождь, бутерброд с сыром, синяя «Нива» под клёном. Восемнадцать дней назад — тоже помнил, тоже обычное. Ни одной странной ложки.

Но тот, кто сидел тут, наверное, думал то же самое. У него тоже были свои обычные утра. Свои бутерброды с сыром. Своя «Нива».

Третье место — старая кожаная куртка в шкафу, которую он не надевал лет семь, потому что в ней он выглядел как старший лейтенант налоговой. В подкладке дыра, за ней карман, о котором не знает никто. Он нащупал там что-то бумажное, и сердце снова бухнуло.

Чек. Старый чек из шаурмичной у вокзала. Три года назад. «Шаурма большая с сыром — 1 шт. Айран — 1 шт.» Артём перевернул — чисто. И вдруг расхохотался. Громко, нервно, на всю пустую квартиру, так, что сосед сверху стукнул чем-то по батарее. Не всякий тайник хранит тайну. Иногда там просто айран.

В кармане зажужжал телефон — с работы он притащил его на четырёх процентах, зарядив от Пашкиного ноутбука.

На экране: «Лера».

Он смотрел на имя долго. Три гудка. Четыре. Потом ответил.

— Ну наконец-то, — сказала Лера вместо «привет». Голос усталый и сердитый, как всегда после приёма. Фоном гремели кастрюли. — Ты моё сообщение видел? Ты живой вообще?

— Живой. — И сам удивился, как нормально прозвучало. — Заработался.

— Заработался он. Тёма, ты третий раз спрашиваешь меня про эти дурацкие ложки. Третий! Я же врач, я знаю, что это значит, когда человек задаёт один и тот же вопрос и не помнит. Понимаешь? У нас дед так начинал. — Что-то зашипело, она выругалась в сторону. — Это не тебе, это макаронам.

Дед так начинал. Дед умер от инсульта, когда Артёму было пятнадцать, и в последний год не узнавал никого, кроме Леры. Артёма он звал Валерой. Не Лерой — Валерой, своим старым фронтовым другом. Артём не спорил. Быть Валерой было не так уж плохо.

— Лер. Я схожу к врачу. Честно. На следующей неделе. Ночные у нас, я не высыпаюсь просто.

В трубке помолчали. Даже кастрюли притихли.

— Ты сейчас говоришь как нормальный, — сказала Лера, и в голосе появилось что-то настороженное. — А вчера ты был какой-то… не знаю. Ты меня вчера по телефону спро-

сил, как зовут моего бывшего мужа. Ты его семь лет ненавидел, Тёма. Ты на свадьбе с ним не чокнулся. Ты не мог забыть, как его зовут.

Артём закрыл глаза.

— Слава, — сказал он. — Его зовут Слава. И он козёл. И он до сих пор должен мне четыре тысячи за бензин.

Лера фыркнула. Не засмеялась — фыркнула носом, коротко и смешно, как ёжик. Она так делала с детства, и с детства её за это дразнили, и она с детства смущалась и сердилась.

— Да ну тебя. Вот теперь похож на себя. Сходи к врачу. И выспись. И поешь, у тебя по голосу слышно, что ты не ел. Люблю тебя, дурака. Макароны убегают.

И отключилась.

Артём долго стоял с телефоном у уха и слушал тишину. Вчера кто-то спросил у Леры, как зовут Славу. Значит, у того, кто спрашивал, Лера была замужем за кем-то другим. Или вообще не выходила. Или…

Или даже не хочется придумывать третье «или».

Он посмотрел на часы. Шесть сорок. До набережной двадцать минут. В холодильнике были полпачки пельменей и горчица. Он съел два ломтя хлеба с горчицей прямо стоя — Лера бы пришла в ужас — и вышел.

В семь он был на месте.

Волга лежала тёмная, плоская, и далеко по ней ползли огни баржи. Тянуло холодом и тиной. Набережная тут была

старая, заброшенная: асфальт в трещинах, перила ржавые, фонарь один на триста метров, и тот мигает, как староста с нервным тиком. Лодочная станция давно не работала. Лодки лежали перевёрнутыми вдоль берега, как спящие тюлени. Будка кассира заколочена крест-накрест. На досках кто-то написал маркером «ТАНЯ + ИГОРЬ» и ниже, другим почерком, «УЖЕ НЕТ». В детстве отец водил сюда их с Лерой кататься на лодке. Лера боялась воды и всю дорогу держалась за его рукав. А потом всех уверяла, что это он боялся.

Ирина сидела на самой дальней лодке и курила. Огонёк сигареты вспыхивал и гас. Артём подошёл, и первая мысль была дурацкая: днём от неё табаком не пахло. Совсем. Он готов был поклясться.

— Вы курите? — спросил он вместо «здраствуйте».

— В этом мире курю, — сказала она, не поворачиваясь. — В своём бросила шесть лет назад. Тело помнит, а я нет. Приходится договариваться. По одной в день. Тело торгуется, как на рынке. — Затянулась, выдохнула в сторону реки. — Садитесь. Разговор длинный.

Он сел на холодное днище лодки. Днище было сырое. Джинсы, едва высохшие после утреннего автобуса, мокрели по новой. День сегодня вообще был какой-то нескончаемо мокрый. Помолчали. Баржа на реке протяжно загудела.

— Сколько вас было? — наконец спросила она. — В вашей квартире.

— Записка говорит, я четвёртый.

— Четвёртый за месяц. — Она кивнула. — Я считаю. Вас легко считать: вы все задаёте одни и те же вопросы. В одном и том же порядке. Сначала «вы сумасшедшая», потом «это невозможно», потом «что мне делать». — Она впервые посмотрела на него. — Давайте сэкономим время и начнём сразу с третьего. У меня ноги мёрзнут.

Артём хотел возразить. Хотел сказать, что он не такой, что у него свои вопросы. И вдруг понял, что у него на языке вертится именно «вы сумасшедшая». Это было обидно. Быть предсказуемым всегда обидно.

— Хорошо, — сказал он. — Что мне делать?

Ирина затушила сигарету о борт лодки и аккуратно убрала окурок в карман пальто. Артёму это почему-то понравилось.

— Сначала понять. Делать — потом. — И он вдруг увидел в ней преподавателя: так начинают лекцию, которую читали сто раз и которая давно надоела. — Когда вы засыпаете в ночь сеанса, ваш разум уходит. Не спрашивайте пока, куда и как. Просто уходит. В соседний мир. Почти такой же, только чуть-чуть другой. В тамошнего вас. В его тело, в его кровать. А его разум в это же время уходит ещё куда-то. Может, в ваше тело. Может, в чьё-то третье. Цепочка длинная, и где у неё конец — я не знаю. Как игра в стулья, только стулья — это вы.

— И утром…

— И утром вы просыпаетесь в чужой жизни. Почти такой же. Разница — в ложках. В вывесках. В цвете стакана. В име-

ни бывшего мужа сестры. — Артём дёрнулся, но она сделала вид, что не заметила. — Большинство ничего не замечает. Мозг сам дорисовывает. «Ну, значит, всегда было две ложки, я забыл». «Ну, значит, всегда была аптека, я не обращал внимания». Через день человек уже сам в это верит. Вот вам и ложные воспоминания, Артём. Только они не ложные. Они просто из другого мира.

Баржа почти скрылась за поворотом. Только красный огонёк на корме ещё дрожал на воде.

— И тот, кто был в моём… в этом теле до меня…

— Гость. Я их зову гостями. Так проще. У вас было три гостя. Один прожил четыре дня, до следующего сеанса. Другой — неделю. Третий — чуть больше. Третий и написал вам записку, да? Он был самый спокойный. Он пришёл из мира, где сам давно всё знал. И он, кстати, перемыл у вас всю посуду. Вы заметили? Нет, конечно.

Артём не заметил. Но теперь, когда она сказала, — вспомнил странно чистую раковину. И вдруг очень сильно пожалел, что не знаком с этим человеком. С собой. С тем, который моет посуду.

— А где был я в это время?

— А вы были гостем у кого-то ещё. — Она пожала плечами. — Или не вы. Я не знаю, Артём. Я знаю только, что каждый из вас уверен, что он настоящий. И каждый прав. Это самое неприятное.

На реке крикнула какая-то ночная птица. Ветер прошёлся

по сухой траве, и трава зашуршала, как газета.

— А почему мы замечаем? Если большинство — нет…

— Не знаю. — Сказала честно, не пряча незнания, и от этого ей хотелось верить больше. Шарлатаны обычно знают всё. — Может, потому что вы слишком внимательный. Кто каждое утро пересчитывает ложки? Может, потому что вы слишком близко к кольцу. Может, что-то ещё. Тот Артём, третий, решил, что из-за шрама.

Рука сама потянулась к брови. Он отдёрнул её.

— Почему из-за шрама?

— Потому что он есть у всех вас. А в остальном вы разные. Один носил бороду — вам не идёт, если что. Один был женат. Уже разведён, но был. Один вообще приехал из мира, где вы не техник, а инженер-теоретик, и страшно этим гордился. До смешного. Сказал мне, что у меня в формуле ошибка. — Она чуть помолчала. — Ошибка там была, кстати. А шрам у всех одинаковый. Над левой бровью.

— У меня с шестнадцати. С велика упал.

— Да. У второго тоже велик. А третий сказал, что в пять лет о дверной косяк приложился. — Ирина впервые за весь разговор улыбнулась. Коротко и невесело. — Интересно, правда? Причины разные. Место одно. Как будто мир твёрдо решил, что там должен быть шрам, а как именно его туда поставить — ему всё равно.

Артём помолчал.

— Седой на фотографии…

— Тоже вы. — Спокойно, как диагноз. — Из мира, где на первом запуске была авария и вы поседели за одну ночь. Такое бывает не только в сказках. Возле кольца, Артём, миры просвечивают друг сквозь друга. Иногда на снимках. Иногда в зеркалах. Иногда в выключенных мониторах. Эта фотография висит слишком близко к трансформаторной шахте и иногда показывает не тот мир. Вчера на ней были вы. Сегодня — он. Завтра будет кто-нибудь ещё. И не смотрите долго в зеркала в подвальном корпусе. Серьёзно.

— Почему?

Ирина не ответила. Смотрела на воду. И Артём вдруг понял, что она молчит не потому, что не знает. А потому, что знает.

И ещё он понял, что ему не страшно. Странно. Должно было быть страшно: сидишь на перевёрнутой лодке с незнакомой женщиной, и она тебе спокойно объясняет, что твоя жизнь не твоя. А ему было только холодно. Холодно и очень одиноко. Будто вся его жизнь — ложки, кактус, Тамара, Слава, велик — вдруг оказалась на тонком льду. А под льдом чёрная вода. И в воде — другие ложки, другие велики, другие Славы. Бесконечно много Слав. Ужас какой.

— Зачем вы мне это рассказываете?

— Потому что вы попросили. Каждый из вас. Первый нашёл меня сам — увидел, как я смотрю на фотографию, и подошёл. И сказал: «Если придёт следующий — расскажите ему всё. Не жалейте. Он выдержит». — Ирина встала, отрях-

нула пальто. — И потому, что сегодня ночью снова сеанс. Полная мощность. Две ночи подряд — раньше такого не было.

— Сегодня? — Внутри всё сжалось. — В графике сегодня ничего. Я сам составлял.

— В вашем графике — ничего. — Она посмотрела на него сверху вниз. — А в графике того, кто всем этим руководит, — есть. Гляньте в журнал сеансов завтра утром. Если завтра утром это будете вы.

— И что будет?

Она посмотрела на него так же, как днём в коридоре. С той самой жалостью.

— Не знаю, куда вас унесёт. Никто не знает. Может, в соседний мир, где всё почти так же. Может, дальше. Но если хотите проснуться здесь — в этом теле, в этой жизни, с этими двумя ложками, — не спите.

— Совсем?

— Совсем. До пяти утра. Переход бывает только во сне. Пока вы не спите, вы как на якоре. Держитесь. Кофе у вас есть?

— Растворимый.

— Соболезную. — И уже уходя вдоль воды, по растрескавшемуся асфальту, остановилась и обернулась: — И, Артём. Если всё-таки уснёте и проснётесь там, где меня нет, — всё равно найдите меня. Я всегда где-то есть. На этой самой лодке, в семь вечера.

— Во всех мирах?

Она помолчала. Кажется, хотела что-то сказать — и передумала.

— Во всех, где я есть. Спокойной ночи, Артём. Хотя нет. Неспокойной. Не спите.

И ушла в темноту.

Артём ещё долго сидел на лодке. Баржа ушла. На том берегу горели редкие огни дач. Он думал о том, что во всех мирах, где есть эта река, она течёт в одну сторону. Наверное. Должна же.

Потом встал, потёр задеревеневший зад и пошёл домой. По дороге зашёл в круглосуточный и купил настоящий кофе. И енергетик. И, подумав, второй энергетик. Кассирша посмотрела на него с сочувствием.

— Сессия? — спросила она.

— Сеанс, — сказал Артём.

Глава 4. Не спать

К полуночи Артём выпил три кружки кофе, один энергетик и открыл окно настежь.

Ноябрьский воздух ввалился в комнату, как большая мокрая собака, и сразу улёгся по всем углам. Занавеска надулась парусом. Кактус на подоконнике стоически перенёс удар. Артём надел второй свитер и встал у окна. Двор: фонарь, гаражи, тёмный клён, синяя «Нива» в мокрых листьях. Пусто. Где-то в сторону промзоны тявкала собака, потом видимо решила, что ну его, и замолчала.

Он придумал себе правила. Записал на листке и прилепил скотчем к холодильнику, как когда-то в общаге лепил формулы перед экзаменом.

Не садиться на кровать.

Не ложиться на диван.

Каждые пятнадцать минут — встать и обойти квартиру.

Будильник — каждые десять минут.

Засыпаешь — холодная вода в лицо.

Подумал и дописал: Не ной.

Перечитал и почувствовал себя идиотом. Студент перед сессией. Ребёнок, который боится темноты и просит не выключать ночник. Но в шести километрах отсюда, под землёй, в трубах, которые он знал лучше собственной квартиры, пучки уже набирали скорость. Он почти слышал этот низкий

ровный гул, хотя отсюда его услышать нельзя. И идиотизм куда-то уходил. Оставался страх. А страху плевать, как он выглядит.

В половине двенадцатого он позвонил маме.

Не собирался. Взял телефон будильник проверить, а пальцы сами нашли «Мама». Она взяла со второго гудка, будто сидела и ждала.

— Тёмочка? — Испуганно. Она всегда пугалась поздних звонков, ещё с тех пор, как ночью позвонили про папу. — Что случилось?

— Ничего, мам. Ничего. Просто… не спится. Хотел тебя услышать.

Она помолчала. Он представил её на кухне под жёлтыми занавесками: синий халат, очки на лбу, кроссворд из «Аргументов», недорешённый на слове «приток Иртыша».

— У тебя голос странный.

— Кофе много выпил.

— Зачем ты на ночь пьёшь кофе? Тебе же на работу.

— Я работаю ночью, мам. Смены.

— Ох, эти твои смены. — Она вздохнула, и в этом вздохе было тридцать четыре года стажа тревоги. — Ты хоть ешь там? Лера говорит, ты похудел. У тебя же склонность, ты в папу, он тоже вечно забывал…

— Ем, мам. Хлеб с горчицей. Полезно.

— Тёма!

— Шучу. — Он посмотрел в открытое окно. — Мам. А

помнишь, ты мне ложки подарила? Набор. Когда я переехал.

— Конечно. Мельхиоровые, на шесть персон. А что?

— Ничего. Вспомнил. Пользуюсь.

— Ну и хорошо. — Голос потеплел. — Я думала, ты их сразу куда-нибудь засунешь. Ты же у меня такой.

Какой — такой, она никогда не уточняла. В это «такой» у неё помещалось всё сразу: и неухоженный, и умный, и бестолковый, и любимый.

Он хотел спросить, помнит ли она, сколько их у него осталось. Не звонил ли он ей недавно ночью. Не спрашивал ли, как её зовут. Не стал. Это было бы подло — тащить её в это. Она была здесь, у себя на кухне, со своим кроссвордом и давлением, и в её мире всё было нормально.

Пока.

— Мам, — сказал он. — Я тебя люблю.

Пауза была такая длинная, что он решил — связь оборвалась.

— Тёма. Ты точно в порядке? Ты мне такое последний раз говорил, когда тебе аппендицит вырезали. И то под наркозом.

Артём засмеялся. И сам испугался, как сильно у него защипало в носу.

— Точно. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, сынок. Ложись спать. И не пей больше кофе, слышишь? Вот прямо сейчас ложись.

Если бы ты знала, подумал он.

Он положил телефон на подоконник экраном вниз и долго стоял. Было стыдно за этот звонок. И очень хорошо от него. Одновременно. Так тоже бывает.

В час ночи он сфотографировал всё.

Идея была его собственная, и он ей гордился. Если что-то изменится — будет доказательство. Не память, которая сегодня уже два раза наврала, а снимок. Файл с датой, временем и координатами. Физика. Факт. Наука, туда её в туду.

Ложки — две. Разложил на столе, как на витрине, сфотографировал сверху. Синий стакан. Кактус — три ракурса, на всякий. Фотография на холодильнике под магнитом-божьей коровкой: он и Лера на её дне рождения два года назад. Лера хохочет, зажмурившись, на голове бумажная корона, которую ей склеили на работе медсёстры из обложек медкарт. Книги. Вид из окна. Он даже себя сфотографировал в зеркале. Бледный, небритый, со шрамом. Снимок вышел как для дела о пропавшем. Несмешная шутка.

Потом он сел за стол — на стул, не на диван, правила есть правила, — и пролистал всё. Сорок три снимка. Сорок три кусочка мира, который был его.

В два он обнаружил себя посреди кухни с пачкой соли в руке. Зачем ему соль, он не имел ни малейшего понятия.

Нормально. Усталость. Он поставил соль, умылся холодной водой, глянул в зеркало — шрам на месте, лицо на месте, волосы торчат как у ошалелого ёжика — и пошёл в обход. Прихожая. Комната. Кухня. Ванная. Прихожая. Комна-

та. Двенадцать шагов от двери до окна. Девять от окна до кухни. Четыре от кухни до ванной. Всегда одинаково. Хоть в чём-то мир пока не наврал.

В половине третьего будильник заорал так, что он опрокинул кружку. Кофе разлился по столу и закапал на пол, прямо на носок. Он вытирал, ругаясь, и думал: в каком-нибудь другом мире кружка не упала. В каком-нибудь ещё — упала и разбилась. А в каком-нибудь он сейчас прекрасно спит и ни о чём не догадывает. Счастливчик. Завидно даже.

В три он начал разговаривать сам с собой.

Сначала шёпотом, потом вслух. Казалось, если говорить, сон не подберётся. Ходил по кухне и нес всё подряд: про третий сектор, про Гатчину, про то, что надо наконец прибить эту дурацкую планку. Про Славу и четыре тысячи. Про то, что в седьмом классе он так и не признался Оксане Куликовой, и правильно, она потом стала бухгалтером.

Потом остановился у холодильника. Посмотрел на Леру.

— Если ты меня слышишь, — сказал он пустой кухне. — Ну, тот, кто придёт сюда после меня. Слушай. Тут не так уж плохо. Кофе в шкафу слева, настоящий, не трогай растворимый, он для гостей. — Он понял, что сказал, и фыркнул. — Хотя ты и есть гость, чёрт с тобой, бери любой. Мама хорошая. Звони ей почаще, она пугается, когда долго не звонят. У неё давление. Не спорь с ней про прививки, это бесполезно. Сестра хорошая. Её зовут Лера. Её нельзя называть Леркой — она за это кусается. Я не фигурально, она правда ку-

сается, у меня на ухе след. Она фыркает, когда смеётся. И если она говорит «всё нормально», значит, всё плохо, и надо ехать. Не обижай её. Слышишь? Не смей её обижать.

Ему никто не ответил. Он засмеялся — коротко, нервно, — и осёкся. Потому что вдруг понял: может, в эту самую секунду кто-то стоит у другого холодильника в другой кухне и говорит то же самое. Те же слова. С тем же «чёрт с тобой». Другому Артёму, который, может быть, придёт сюда. К нему.

От этой мысли стало так неуютно, что он включил радио. По радио шла ночная передача про садоводство. Женщина из Костромы спрашивала, как спасти гортензию. Артём слушал с таким вниманием, будто от этого зависела его жизнь.

В половине четвёртого холодильник щёлкнул и загудел. Артём подпрыгнул, обернулся. Ничего. Холодильник включился, как включался каждые сорок минут последние пять лет.

Он сел на табуретку. На минутку. Ноги гудели так, будто он прошёл пешком до Дмитрова. Положил локти на стол, подпёр голову. Радио тихо бормотало про мульчирование. Телефон показывал 3:33. Красивое число. Лера бы сказала — загадывай.

Он загадал. Чтобы утром ложек было три.

Закрыл глаза. На секунду. Просто резало от света.

Он не спал. Точно не спал. Он слышал холодильник, слышал ветер в клёне, слышал, как женщина по радио сказала «а если опилки?». Он закрыл глаза ровно на минуту.

Открыл. 3:34.

Будильник ещё не звонил. Радио молчало — передача, наверное, кончилась.

На кухне всё то же. Окно открыто. Занавеска-парус. Кружки. Холодильник гудит. Артём выдохнул — долго, с присвистом — и почувствовал, что руки трясутся. Ничего. Ничего не случилось. Минута — это слишком мало. Минута — это ничто.

Он встал, потянулся до хруста — и замер с поднятыми руками.

Фотография на холодильнике была другой.

Тот же магнит-коровка. Тот же день рождения — стол, торт с вишнями, бумажные гирлянды. Та же корона, та же зажмуренная от смеха Лера. Но рядом с ней сидел не он.

Рядом сидел мальчик лет пяти. Белобрысый, круглолицый, по уши в креме и с выражением абсолютного, ничем не замутнённого счастья. Лера обнимала его обеими руками — так, как обнимают только своих. Не племянников. Не соседских. Своих.

У Леры не было детей.

Никогда. Она была замужем за Славой шесть лет, и все шесть лет они пытались, и ничего не выходило. И в конце концов Слава ушёл — к женщине, у которой вышло. Лера тогда полгода не выходила из дома. Артём таскал ей продукты, сидел с ней по вечерам на кухне и молчал, потому что говорить было нечего. Однажды за весь вечер она сказала

только одно: «Тём, у тебя носок дырявый». И они оба почему-то заплакали. Этот год он помнил до последнего дня.

Он сорвал фотографию с магнита. Магнит упал и укатился под холодильник. Он перевернул снимок.

На обороте, её почерком, круглым и быстрым, синей ручкой:

«Мишка и мама. 5 лет!»

Он смотрел на надпись, пока буквы не поплыли. Потом схватил телефон — дважды промахнулся мимо иконки, пальцы не слушались — и открыл галерею.

Сорок три снимка. Он сделал их три часа назад. Долистал до холодильника.

Холодильник. Коровка. Фотография. Мальчик.

Он фотографировал этот снимок три часа назад и видел там себя. Он был уверен в этом так же, как в своём имени. Помнил, как наводил камеру и подумал: «Лера тут смешная, а я тут как всегда как на допросе». Помнил своё лицо на фото — серьёзное, чуть растерянное. А телефон показывал мальчика с кремом на щеках.

Он листал дальше, уже почти в панике.

Все ночные снимки были на месте. Сорок три. Ложки, стакан, кактус в трёх ракурсах, окно, зеркало. Только ложек на снимке было три. А стакан — не синий. Прозрачный, с облезлым парусником. И с трещиной, как молния на детском рисунке.

А перед ночными, вчерашним днём, шли фотографии, ко-

торых он не делал. Детская площадка у маминого дома, мокрая, осенняя. Мальчик на качелях — тот самый, белобрысый, в красной куртке, с распахнутым от восторга ртом. Лера в незнакомом сером пальто, с термосом, машет в камеру. Мальчик кормит голубей — и, судя по всему, сам ест половину батона. Мальчик спит на заднем сиденье, уронив голову на плечо.

И сообщение от Леры, вчерашнее, 19:42: «Тёма, спасибо, что посидел с Мишкой! Он всю дорогу говорил про твой коллайдер. Сказал, что когда вырастет — будет «разбивать атомы, как дядя Тёма». Я тебя убью :)»

Значит, он прыгнул.

За одну минуту. За одну чёртову минуту на табуретке.

Артём сел на пол у холодильника — ноги просто перестали держать — и сидел, прижавшись спиной к его тёплому гудящему боку. Телефон в одной руке, фотография в другой. Под холодильником поблёскивала коровка.

Теперь он понимал, что произошло. С отвратительной, ледяной ясностью — так понимают, что дёрнули не тот рубильник. Здесь жил другой Артём. У которого есть племянник. Который вчера качал его на качелях и отвечал на вопросы про коллайдер. Который — потому что они один человек, потому что думают одинаково — тоже не спал этой ночью. Тоже фотографировал ложки, и стакан, и кактус, и холодильник. Те же мысли. Те же снимки. Та же табуретка. То же садоводство по радио, наверное. Одна ночь в двух мирах. А

потом одна минута — и они поменялись местами.

Или не поменялись. Может, тот сейчас тоже сидит у холодильника — в третьем мире. А в его, Артёма, мире, в его квартире с двумя ложками и синим стаканом, сидит кто-то четвёртый.

Он поднялся и пошёл к ящику с приборами.

Ложек было три.

Он стоял, держа ящик, и смотрел на них. Три десертные. Мамин мельхиор. Одинаковая царапина у основания ручки. Три. Как всегда. Как он загадал в 3:33.

Желание исполнилось. Только не его. А вселенная, оказывается, исполняет желания как плохой официант: что заказал, то и принесла. Но не за тот столик.

Он сел на табуретку и долго смотрел на мальчика с кремом на щеках.

Вдруг дошло: этот ребёнок существует. По-настоящему. Где-то в соседнем районе, на третьем этаже, он сейчас спит, раскинув руки, в пижаме с ракетами или с динозаврами. Артём не знал с чем, но был почему-то уверен, что с ракетами. И что одна ракета на коленке протёрта. Он сопит и видит свои сны про коллайдер. У него есть мама. И есть дядя, который с ним сидит, кормит голубей и не мешает есть батон.

А в мире, откуда пришёл Артём, — в его мире, в настоящем, — этого мальчика не было никогда. И Лера там полгода не выходила из дома, и они молчали на кухне, и плакали из-за дырявого носка.

И где-то там сейчас просыпается другой Артём. У которого есть Мишка. И смотрит на холодильник, где рядом с Лерой сидит какой-то серьёзный небритый мужик с лицом как на допросе. Он сам. И этот Артём сейчас, наверное, кидается к телефону, листает галерею, ищет хоть одну фотографию с качелями, с голубями, с красной курткой. И не находит ни одной.

Артём закрыл лицо руками.

Ему было жалко этого другого до злости. И — чего уж там — завидно. Тому-то хоть было что терять.

«Не говори Лере», — вспомнил он. — «Она уже видела троих из нас и боится».

Теперь он понимал почему.

В пять утра сеанс кончился. Он понял это не по часам — по тишине. Воздух в квартире стал как будто плотнее, тяжелее, будто кто-то большой и невидимый тихо прикрыл дверь в соседнюю комнату. Может, показалось. А может, и нет.

Он закрыл окно, потому что замёрз до костей. Достал из стола старую тетрадь в клетку — зелёную, сорок восемь листов, купленную для записей по ремонту. Ремонт так и не начался, тетрадь тоже. Открыл на первой странице. Подумал. Взял ручку. Ручка не писала. Взял другую.

И написал крупно, печатными буквами, чтобы следующий не мог пропустить:

«МЕНЯ ЗОВУТ АРТЁМ ВОРОНЦОВ. Я ПРИШЁЛ ИЗ

МИРА, ГДЕ У ЛЕРЫ НЕТ СЫНА.
ЕСЛИ ТЫ ЧИТАЕШЬ ЭТО — ТЫ ТОЖЕ НЕ ОТСЮДА.
ДАВАЙ ДОГОВОРИМСЯ».

Глава 5. Тетрадь

Договор получился простым. Простым — после целого часа мучений.

Артём писал, зачёркивал, вырывал черновики из конца тетради и писал снова. Потому что понимал: читать это будет человек, который только что проснулся в чужой жизни. Напуганный. Злой. Не выспавшийся, как и полагается. Такой же, как он сам три дня назад, только, может быть, ещё и без кофе. Такому человеку нужна не философия. Ему нужна инструкция. Как на огнетушителе: выдернуть чеку, направить, нажать.

1. Тетрадь лежит в левом ящике стола. Не перекладывать.

2. Писать каждое утро после сеанса: откуда пришёл, что не так.

3. Не вырывать страницы. Даже если стыдно.

4. Заботиться о людях этого мира так, как хотел бы, чтобы о твоих заботились другие.

На слове «стыдно» ручка поставила кляксу — он слишком сильно надавил. Хотел затереть. Не стал. Пусть будет. Тот, кто придёт после, должен видеть, что писал человек, а не принтер. Принтеры не стыдятся.

Первые две ночи сеансов не было. И Артём жил в мире с Мишкой.

Это оказалось не страшно. Это оказалось странно-нежно

— как сон, из которого не хочется вылезать, хотя будильник уже орёт.

В пятницу он пошёл на работу и весь день изучал детали, как сапёр изучает поле. Осторожно. С паузами. Пашка был тем же Пашкой, только без бороды.

— Ты чего на меня так смотришь? — Пашка потрогал подбородок. — Месяц уже как сбрил. Ты же сам сказал, что я с ней как лесник, который потерял лес.

— Я так сказал?

— Ну. И ещё что я похож на гнома из рекламы пива. Я обиделся, между прочим. Два дня.

— Извини.

— Да ладно, — великодушно махнул Пашка. — Я тогда отомстил. Ты разве не заметил, что у тебя в чае соль была?

Не заметил. Того чая он не пил. Тот чай пил другой.

Кабинет был тем же кабинетом. И пустой стол напротив — таким же пустым, со старыми распечатками, с кружкой «… ТЯ». Артём посмотрел на неё и почувствовал облегчение: хоть что-то стоит на месте. Потом подумал: а хорошо ли это? Если кружка никуда не делась в двух мирах — значит, тот, чья она, пропал в обоих. И облегчение куда-то делось.

В субботу Лера привела сына.

Позвонила в десять:

— Тём, выручай. Меня на дежурство выдернули на четыре часа, мама с давлением лежит, в садике карантин. Ты моя последняя надежда. Ну, предпоследняя. Последняя — муль-

тики, но их я ему уже запретила.

Через сорок минут в дверь позвонили. Артём открыл. И мальчик в красной куртке с порога бросился на него с криком:

— Дядя Тёма!

Артём поймал. Поднял.

И тело само знало, как держать ребёнка. Одна рука под попу, другая на спину, прижать чуть боком, чтобы тот мог смотреть через плечо. Руки помнили то, чего не помнил он. Это было самое странное ощущение в его жизни: тело знает больше тебя. Как будто надел чужую куртку, а в кармане нашёл свои ключи. И ещё чек из магазина, где ты никогда не был.

Мальчик пах морозом и печеньем. Обхватил за шею так, что стало нечем дышать, и зашептал в ухо, громко, как шепчут только дети:

— Дядя Тёма, а мы будем строить коллайдер? Ты обещал!

Он не помнил, чтобы обещал. Сказал:

— Будем.

Лера стояла на пороге в сером пальто — том самом, с фотографии — и смотрела на них с улыбкой, которой Артём не видел у неё с тех пор, как ушёл Слава. Нет. Ещё раньше. В его мире она так больше не улыбалась. Совсем. А здесь улыбалась. Здесь у неё был Мишка.

— В четыре заберу, — сказала она. — Сладким не кормить. Паяльники не давать. В прошлый раз он чуть стол не

прожёг, а ты потом ещё и сказал, что это «эксперимент с неожиданным результатом».

— А это был не эксперимент?

— Тёма. Это был мой стол.

И ушла. И они остались вдвоём.

Коллайдер строили из диванных подушек, книг и старого садового шланга. Шланг Артём нашёл на балконе. В его мире шланга там не было никогда — там были лыжи, сломанный пылесос и банка огурцов неизвестного года. Шланг стал кольцом ускорителя. Подушки — детекторами. Мишка назначил себя главным физиком, а Артёма — «техником, потому что ты и есть техник».

— Обидно, — сказал Артём.

— Зато честно, — сказал главный физик.

Они запускали по шлангу теннисные мячики навстречу друг другу и смотрели, как те сталкиваются и разлетаются по комнате. Один попал в кактус. Кактус выжил. Мишка записывал результаты фломастером на тапке — загогулинами, потому что писать ещё не умел. Тапка была Артёмова. Артём решил, что после всего, что с ним случилось, тапка — небольшая цена.

— Дядя Тёма, — спросил Мишка, когда они устали и легли на пол среди подушек, — а когда частицы сталкиваются, им больно?

— Нет. У них нет нервов.

— А куда они потом деваются?

Артём посмотрел в потолок. На потолке была трещина в форме реки — та же, что и в его мире. Кажется, та же. Он уже ни в чём не был уверен.

— Превращаются в другие частицы. Маленькие, быстрые. И разлетаются.

— Куда?

— Везде. В разные стороны.

Мишка подумал. Подумал основательно, сморщив нос.

— А потом возвращаются?

Артём ответил не сразу.

— Не знаю, — сказал он наконец. — Наверное, нет.

— Плохо, — серьёзно сказал Мишка. — Их же кто-то ждёт.

Потом были макароны с сыром. Мишка ел, как едят только пятилетние: всем лицом, с полной самоотдачей. И рассказывал. Про садик. Про какого-то Ваню, который отнял машинку и за это будет наказан — Мишка ещё не решил как, но будет. И про то, что у дяди Вити были самые смешные усы на свете.

Артём замер с вилкой в руке.

— У какого дяди Вити?

— Ну у дяди Вити, — Мишка посмотрел на него с тем снисходительным удивлением, с каким дети смотрят на взрослых, не знающих очевидного. — Моего крёстного. Он с тобой работает. Он мне на день рождения телескоп подарил. Только он потом куда-то уехал, и мама говорит, что не

помнит никакого дядю Витю. А я помню. У него усы вот так. — И приложил под нос палец, грязный от сыра.

Артём медленно положил вилку.

Плотный усатый человек на фотографии в коридоре. Рука на плече у седого. Кружка с буквами «…ТЯ».

— Помнишь, значит, — тихо сказал он.

— Помню. — Мишка снова занялся макаронами. — Я всё помню. У меня память как у слона. Мама говорит, это наказание.

В четыре приехала Лера. Уставшая, счастливая, с тёмными кругами под глазами и пакетом мандаринов. Пока Мишка одевался в прихожей — долго, обстоятельно, сопя от усердия над липучками, — она стояла на кухне и пила чай из Артёмовой кружки. Без спроса. Как всегда. В этом мире, похоже, тоже.

— Ты сегодня какой-то тихий.

— Не выспался.

Она присмотрелась. Тем самым взглядом, каким смотрела на пациентов: внимательно, спокойно, с профессиональным интересом. Семь лет на участке, сто способов понять, что человек врёт про «да ничего не болит». И на секунду в её глазах мелькнуло знакомое. Тот самый страх из сообщения — «ты меня пугаешь». Как будто она смотрела на брата и не могла понять, что в нём не так. Как когда переставили мебель, а ты не можешь сказать, что именно сдвинулось.

Артём улыбнулся и заговорил о работе. Про калибровку.

Про третий сектор. Про то, что из Гатчины опять прислали не те разъёмы и он, честное слово, когда-нибудь поедет в эту Гатчину лично и устроит там небольшую научную революцию. Страх ушёл. Лера кивала, зевала, ругала Гатчину вместе с ним. Обычный разговор брата и сестры на кухне.

— Ты бы поспал, — сказала она уже в дверях.

Если бы ты знала, подумал он. Это уже становилось у него присказкой.

И ещё он подумал, что теперь будет так всю жизнь. Улыбаться и говорить о работе. Ну, разъёмы. Ну, Гатчина. Всё нормально.

Когда они ушли, он долго стоял у окна. Смотрел, как они идут по двору: серое пальто, красная куртка, держатся за руки. Мишка прыгал через лужи — через все, ни одной не пропустил. Лера смеялась. Отсюда не было слышно, но он знал, как она смеётся. Фыркает.

В воскресенье вечером он открыл журнал сеансов с домашнего компьютера. В понедельник ночью — полный сеанс. Сто двадцать процентов от паспортной мощности. В колонке «ответственный» две буквы: «С. Д.».

Он долго думал, что делать. Ходил по кухне. Съел два мандарина, которые Лера забыла. Потом третий, уже из вредности.

Если не спать — он останется здесь. С Мишкой. С улыбающейся Лерой. С тремя ложками и треснувшим стаканом. Это был хороший мир. Честно говоря, лучше его собствен-

ного. Но тогда настоящий хозяин этого тела — тот, кто кормил голубей и обещал коллайдер, — никогда не вернётся. И сам Артём никогда не вернётся домой. Не увидит свою настоящую сестру. Ту, которая полгода не выходила из квартиры. Ту, которой он носил продукты и с которой молчал по вечерам.

Звучало как выбор между хорошим и правильным. Он терпеть не мог такие выборы. Ещё со школы, когда надо было выбрать между контрольной и футболом.

А если спать — унесёт неизвестно куда.

В понедельник ночью он не стал бороться со сном.

В тетради, под правилами, написал:

«Прожил здесь 4 дня. Лера счастлива. Мишка — чудо. Он помнит дядю Витю, которого никто не помнит. Узнай, кто это. На балконе шланг — это коллайдер, не выбрасывай. Ухожу спать. Береги их».

Перечитал. Дописал: «На тапке — результаты эксперимента. Не стирай». Положил тетрадь в левый ящик. Лёг. Сложил руки на груди, как покойник, — и сам хмыкнул от этого сравнения, — и подумал: интересно, что чувствует мир, когда из него уходишь.

Ничего. Мир ничего не чувствовал. Мир вообще мало что чувствует, это Артём знал по работе.

Проснулся он от того, что за стеной лаяла собака.

Глаза не открывал. Лежал и слушал. Собака лаяла басом, неторопливо, по-хозяйски. Большая. У соседей не было со-

баки. У соседей была старая кошка Муся, которая выходила на лестничную клетку и смотрела на всех так, будто они должны ей денег. По крайней мере — вчера.

Он лежал и считал звуки. Собака — раз. Дождь, мелкий, стучит по карнизу — два. Где-то со стороны проспекта звякнул трамвай — три.

В Дубне не было трамваев. Никогда.

И ещё — радио у кого-то на кухне, новости, слов не разобрать. Четыре.

Он сел и первым делом открыл левый ящик.

Тетрадь была там.

Другая. В синей обложке, а не в зелёной, и чуть толще. Но на первой странице печатными буквами стояло: «МЕНЯ ЗОВУТ АРТЁМ ВОРОНЦОВ». Только дальше было не «из мира, где у Леры нет сына», а «из мира, где у меня нет собаки за стеной». И ниже — те же четыре пункта. Тем же почерком. Даже клякса на слове «стыдно» была на месте.

Он не писал этого. Это написал другой он, в ту же ночь, слово в слово. Они были настолько одинаковыми, что их тетради совпадали до кляксы. Одинаково думали. Одинаково боялись. Одинаково давили на ручку на одном и том же слове.

От этого было не легче. Скорее наоборот. Неприятно узнать, что ты такой предсказуемый. Хоть бы один из них написал «стрёмно» вместо «стыдно».

Он перевернул страницу. Здесь совпадения кончились.

Страница была исписана разными чернилами. Синими, чёрными. Одна запись — карандашом. Нажим разный. То аккуратно, то наспех, буквы скачут. Артёмы — гости, один за другим — оставляли следы, как в гостиничной книге отзывов. Это и была гостиница. Он вдруг понял это с ужасающей ясностью: его тело, его квартира, его жизнь давно стали гостиницей. Через которую ходят люди с его лицом. А он даже не знал, сколько звёзд ей ставят.

«Пришёл из мира, где есть трамвай до института. Здесь его нет. Проспал работу, ждал на остановке сорок минут».

Артём прислушался. За окном снова звякнул трамвай. Значит, здесь — есть. Значит, тот, кто это писал, писал не здесь, а каким-то образом… Нет. Он перечитал. «Здесь его нет». А теперь — есть. Значит, тетрадь сама переносится из мира в мир? Или кто-то в этом мире переписал слова из другой тетради по памяти? Или — от этой мысли закружилась голова — миры, где эту строчку написали и где её читали, не совсем разные, а смешиваются. Как две краски, если долго водить кистью.

Он стал читать дальше.

«Пришёл из мира, где мама жива. Здесь — нет. Не звони ей по привычке. Так больнее».

Артём перестал дышать.

Схватил телефон с тумбочки, нашёл «Мама», нажал вызов раньше, чем успел подумать. Гудок. Один. Два. Три. Потом ровный, вежливый, совершенно равнодушный женский

голос: номер не обслуживается.

Набрал снова. Тот же голос. Тем же тоном. Ей было всё равно.

В галерее, в альбоме двухлетней давности, он нашёл фотографию оградки и свежих цветов — белые хризантемы, мамины любимые — и сразу закрыл, не дав себе прочитать имя на табличке. Палец дрожал так, что он чуть не уронил телефон.

Он сидел на краю кровати и смотрел в стену. За стеной лаяла чужая собака. Ей тоже было всё равно.

Позавчера ночью он сказал маме: «Я тебя люблю». Она перепугалась. Сказала: «Не пей больше кофе». Это последнее, что он от неё услышал. И он ещё спешил положить трубку, потому что ему было неловко. Неловко. Господи.

Нет. Стоп. Не последнее. Она жива. Там, в мире с Мишкой, — жива. В субботу жаловалась Лере на давление. Она есть. И в ту же секунду он понял: там сейчас кто-то другой — Артём из этого мира, Артём, у которого два года назад умерла мать, — проснулся. И, может быть, уже позвонил. И слышит её голос впервые за два года. «Тёмочка? Что случилось?»

И Артём не понял, что чувствует. Ревность или благодарность. Наверное, и то и другое, и ещё что-то третье, для чего слова пока не придумали.

Дальше строки становились короче и злее.

«Ирина знает всё. А Данилов знает больше».

«Не доверяй Данилову».

И ниже, другой рукой — его же, но ровнее, спокойнее, как у человека, который давно всё для себя решил:

«Данилов прав. Он единственный, кто понимает, что мы теряем. Поговори с ним, прежде чем слушать Ирину».

И последняя запись на странице. Вдавлена так, что ручка местами прорвала бумагу насквозь:

«ВЫ ОБА НЕ ВИДЕЛИ МИР БЕЗ ЛЕРЫ».

Артём долго сидел с тетрадью на коленях.

Провёл пальцем по прорванным буквам. Бумага там была шершавая, вздыбленная, как старый шрам. Он попробовал представить человека, который это писал. Себя. Каким надо быть, чтобы так писать? Что он видел? Что потерял?

Не хотел думать об этом. Заставил себя не думать. Встал, пошёл на кухню, поставил чайник. Чайник был красный, незнакомый. Ладно. Хотя бы закипает так же.

Зажужжал телефон.

Сообщение с незнакомого номера.

«Сегодня в восемь. Ул. Маслихина, 9, кв. 14. Познакомлю с остальными. И.»

И сразу второе — будто она подумала и дописала:

«И если вас сегодня вызовут к руководству — ничего не подписывайте».

Артём перечитал оба. Сначала одно, потом другое, потом снова первое. «С остальными». Значит, есть остальные. Хорошая новость. Или очень плохая. В последнее время это

было одно и то же.

Он взял ручку, открыл синюю тетрадь на чистой странице и написал:

«Пришёл из мира, где у Леры есть сын. Здесь не знаю. Мамы здесь нет. За стеной собака. Пошёл к Ирине».

И, подумав, дописал снизу, мелко:

«И чтобы ты знал — там, где сейчас ты, мама жива. И есть мальчик, который ждёт тебя строить коллайдер. Не подведи его».

Он знал, что тот Артём этого не прочитает. Тетрадь здесь, а тот — там. Но всё равно написал. Потому что в этой тетради были строчки из мира с трамваем. А значит, строчки каким-то образом находили дорогу.

Чайник щёлкнул. Артём сидел и не шёл к нему. Пусть остывает. Сегодня всё равно ничего не успевало быть тёплым.

Глава 6. Ложечники

К руководству его в тот день не вызвали. К вечеру это тревожило больше, чем если бы вызвали. Когда тебя предупреждают «ничего не подписывайте», а подписывать нечего, начинаешь подозревать всё подряд. Даже автомат с батончиками в фойе.

Весь день он жил в мире с собакой и трамваем и старался не думать. Получалось плохо. Трамвай оказался старым, красно-жёлтым, с деревянными сиденьями, на которых кто-то когда-то выцарапал «Оля + Дима», а кто-то другой — ниже — «Дима козёл». Ходил по проспекту Боголюбова до самой проходной. Артём проехался и почувствовал себя туристом в собственном городе. Туристом, у которого не было билета: кондукторша посмотрела на него как на недоразумение и пробила ему талончик со вздохом матери, у которой сын опять потерял варежки.

Пашка в этом мире снова был с бородой. Артём так обрадовался, что чуть её не потрогал. Аптека на углу Курчатова была аптекой. В сторону маминого дома он старался не смотреть. Посмотрел всё равно. В окне третьего этажа висели другие занавески. Синие, плотные. Никаких цветочков. Там жили другие люди, и он внезапно возненавидел их — совершенно незнакомых, ни в чём не виноватых, с их дурацкими синими занавесками. Потом стало стыдно. Потом опять

ненавидел. Так и дошёл до работы.

Дом на Маслихина оказался старой кирпичной пятиэтажкой с деревянными рамами и котами в подвальных окошках. Три рыжих, один чёрный. Чёрный смотрел особенно осуждающе. В подъезде пахло жареной картошкой и сыростью. На третьем этаже дверь четырнадцатой квартиры была обита коричневым дермантином, с аккуратной латунной табличкой: «Савельевы Н. П. и Л. М.».

Артём постоял перед дверью минуту. Две. Думал: сейчас откроют — а там секта. Свечи, пение, женщина в балахоне. Позвонил.

Дверь открыла маленькая старушка в вязаной жилетке цвета мха. Седые волосы в тугой пучок, очки на цепочке. Очки лежали у неё на груди, а смотрела она на Артёма поверх них, снизу вверх — так смотрят на новую книгу, прежде чем решить, на какую полку ставить.

— Артём, — сказала она без вопросительной интонации. — Нина Павловна. Вы у меня пятый раз, но впервые. Проходите. Тапочки синие. Не коричневые — коричневые для Рустама, у него сорок седьмой. В прошлый раз вы надели коричневые и ходили в них как в лыжах.

Синие тапочки оказались ровно его размера. От этого стало не по себе. Кто-то в этом доме знал его размер ноги, а он даже не знал, как сюда попадать от остановки.

В комнате пахло пирогами и старой бумагой. Вдоль стен, до потолка, стояли полки. Книги — несколько полок слева.

А всё остальное — одинаковые конторские гроссбухи в тёмно-синих коленкоровых обложках. Десятки. На корешках белыми наклейками — годы. 1971–1974. 1975–1979. 1980–1983. И дальше, десятилетие за десятилетием, до самой последней, на которой стояла только начальная дата и тире.

За круглым столом под кружевной скатертью — а поверх скатерти, разумеется, прозрачной клеёнки, как у всех бабушек мира, — сидели трое.

Ирина — без сигареты, с чашкой чая, в том же сером свитере. Кивнула так, будто они расстались час назад. Может, для неё так и было.

Худой парень лет двадцати в чёрной толстовке с капюшоном. Руки тонкие, нескладные. Ноутбук обклеен наклейками: единорог, кот в скафандре, дерево с кривыми ветками и подписью «ВСЁ ВЕТВИТСЯ».

И грузный усатый мужик лет пятидесяти в рабочей куртке с надписью «Дубнаэнерго» на спине. Он держал фарфоровую чашечку двумя огромными пальцами, как держат птенца, и боялся поставить её на блюдце. По лицу было видно, что с этой чашкой у него давние и сложные отношения.

— Костя. — Парень протянул руку через стол. Рука оказалась холодной и неожиданно крепкой. — Веду канал «Ложечник». Про эффект Манделы. Слышали? Нет? Ничего, никто не слышал. У меня в каждом мире разное число подписчиков. В лучшем было сорок тысяч, я даже рекламу брал. Такие, знаете, беспроводные наушники. А в этом — триста.

И половина из них боты. А наушники я потерял. То есть они остались там.

Он сказал это легко, смешно, как говорят о погоде. Но Артём успел увидеть, как дёрнулись у него уголки губ. Дело было, конечно, не в наушниках.

— Рустам, — буркнул усатый. Рука широкая, шершавая, с чёрной каймой под ногтями. — Электрик. Подстанция у кольца. Там, где всё жужжит. Вы нас жечёте, мы вас кормим. Током.

Артём сел на свободный стул. Нина Павловна поставила перед ним чашку и тарелку с пирожками — с капустой, с яблоками, с картошкой. И села напротив, сложив руки на коленях.

— С капустой берите, — сказала она. — Вы всегда берёте с капустой. Во всех пяти случаях.

Артём из чистого упрямства взял с яблоками. С яблоками был чудесный. Но с капустой, подозревал он, был лучше. Нина Павловна, кажется, тоже это знала и виду не подавала.

— Почему «ложечник»? — спросил он, просто чтобы что-нибудь спросить.

Костя расцвёл. Так расцветают люди, которых наконец спросили про то самое.

— А вот! Смотрите. Моя любимая теория. — Он подался вперёд. — Люди не замечают большое. Вообще. Дом слева или справа, фамилия актёра через «е» или через «и», в каком году была какая-нибудь война — мозг тут же перепису-

вает память, и всё. Он же ленивый, мозг. Ему проще поверить миру, чем себе. Как мой папа — телевизору. А вот мелочи, которые трогаешь руками каждый день, — нет. Руки не обманешь. Руки помнят, что в ящике было три ложки, а теперь две. Почти все начинают с этого: чашки, ложки, зубные щётки, ключи. Я статистику собирал в комментариях. Ложки — на первом месте. Зубные щётки — на втором. Но «щёточники» звучит как секта стоматологов. Вот и получились ложечники.

— У меня были сахарницы, — сказал Рустам.

Он наконец решился и поставил чашечку на блюдце. Очень осторожно. И выдохнул, как после тяжёлой смены.

— У жены сахарница от бабушки. Фарфоровая, с маками. Сорок лет на столе стояла. Один раз просыпаюсь — с ромашками. Я жене: Рая, говорю, а где маки? А она мне: какие маки, ты что, она всегда с ромашками была. Я ей, дурак, и говорю: ты мне ещё скажи, что ты всегда была моей женой. — Он помолчал, пожевал ус. — Она шутки не поняла. А я не шутил. Та была не Рая. То есть Рая, но не моя. У моей на левой руке родинка, вот тут. А у той не было. И борщ она солила по-другому. Три дня я там прожил. Три дня с чужой женой. На диване спал, сказал — спина. Потом вернулся. То есть попал туда, где снова маки. И родинка. И борщ правильный.

Артём молчал.

Он думал о том, что этот грузный человек три дня жил

рядом с женщиной, которая была его женой — и не была. И что сейчас он рассказывает об этом чуть смущённо, как про случай на рыбалке. Даже про борщ вставил. Каким же надо быть, чтобы рассказывать такое так. Или — подумал он чуть позже — насколько надо было испугаться, чтобы потом рассказывать так спокойно.

Нина Павловна надела очки.

— Я прыгаю с семи лет, — сказала она так, как говорят «я вяжу с семи лет». — Коллайдеров тогда и в помине не было. Синхрофазотроны были, но те слабенькие. Просто частицы летят из космоса и сталкиваются с воздухом. Всегда летели. И людей всегда, с самого начала, чуть-чуть перебрасывало. Во сне. В соседний мир, где всё отличается одной пуговицей. Я просто всегда замечала пуговицы. Мама говорила, что я фантазирую. Сердилась. Однажды поставила в угол за то, что я сказала, что у нас вчера был кот. Кота у нас не было. А вчера — был. Потом я перестала ей рассказывать и начала записывать.

Она кивнула на полки.

— Книга расхождений. Шестьдесят с лишним лет. Сначала в школьных тетрадках, они в коробке на антресоли. Потом, когда пошла в библиотеку, — в гроссбухах. Их нам выдавали для инвентарных книг, а я брала лишние. Считайте, крала. За шестьдесят лет — вот столько. — Она обвела полки рукой с некоторой гордостью. — Срок давности, надеюсь, истёк.

— Они… — Артём посмотрел на синие корешки. — Они тоже меняются? Когда вы прыгаете?

— Разумеется. В каждом мире моя книга чуть-чуть другая. Но я пишу одно и то же во всех мирах. Я привычная. — Она улыбнулась. И Артём вдруг понял, что эта маленькая старушка в вязаной жилетке — сильнее всех в комнате. Сильнее Рустама с его чёрными ногтями. Сильнее Ирины. И уж точно сильнее него. — Расхождения были всегда. Но маленькие. Два-три в год. Пуговицы. А потом запустили кольцо.

Ирина молча развернула на столе длинную бумажную ленту — десяток листов, склеенных скотчем. Лента свешивалась с края и сворачивалась на полу. Рустам предусмотрительно отодвинул свою чашечку. Внизу — даты. Вверху — пики двух цветов.

— Синее — сеансы коллайдера и их мощность, — сказала она. — С первого запуска, девять лет. Красное — расхождения. Из Книги Нины Павловны. Из наших записей. И из Костиных подписчиков — тех, которые не боты и не сумасшедшие.

— Таких семнадцать, — вставил Костя. — И одна бабушка из Сызрани, но она про инопланетян, я её не считаю.

Артём наклонился над лентой.

Он был техником. Графики он читал, как другие читают детективы, — с конца, чтобы сразу узнать, кто виноват. И увидел сразу, с первого взгляда, до того как Ирина догово-

рила.

Красные пики повторяли синие. Не точно. Но так же несомненно, как эхо повторяет крик. Каждый мощный сеанс — всплеск расхождений на следующий день. Каждое затишье — затишье. А последние два месяца оба графика лезли вверх, всё круче, как две змеи по стене.

Ему стало холодно. Не от страха — от узнавания. Так смотрят на рентген, который подтвердил то, что ты и так знал. Знал и делал вид, что не знаешь.

— Это не обычные эксперименты, — сказала Ирина. — Обычные идут по плану на год. А тут кто-то нарочно гоняет кольцо по ночам. И нарочно наращивает мощность. Паспортный предел — сто процентов. На прошлой неделе было сто сорок.

— У меня на подстанции в ту ночь трансформатор гудел, как свинья на резке, — мрачно сказал Рустам. — Я думал, сожжём.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.